

Евгений Федоров

БОЛЬШАЯ СУДЬБА



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Ф 33

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Татьяны Павловой

Федоров Е.

Ф 33 Большая судьба : роман / Евгений Федоров. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — 800 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-33836-4

Евгений Александрович Федоров — известный советский писатель, автор трилогии «Каменный Пояс», посвященной становлению промышленности на Урале и ее основоположникам — династии Демидовых. Евгений Федоров по праву считается одним из лучших мастеров исторической прозы, его произведения пользуются заслуженным успехом у разных поколений читателей. Яркие характеры, увлекательное повествование, быт и нравы людей ушедшей эпохи, интересные факты из истории нашей страны — все это в полной мере присутствует в произведениях Евгения Федорова. В настоящем издании печатается роман «Большая судьба», в котором рассказывается о выдающемся российском ученом-металлурге Павле Петровиче Аносове — горном инженере, а в последние годы жизни начальнике Алтайских горных заводов и томском гражданском губернаторе. В книгу также вошли исторические повести и новеллы писателя, также основанные на реальных исторических сюжетах.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-33836-4

© Е. А. Федоров (наследник), 2026
© Оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Знаменательный день в жизни молодого шихтмейстера Павла Аносова

Санкт-Петербургского Горного кадетского корпуса унтер-офицер Павел Аносов, одетый в парадную форму, медленно проходил по набережной Васильевского острова. Высокий, стройный, в треугольной шляпе и в белых панталонах, со сверкающей белой перевязью вокруг гибкой талии, он шел, играя каждым мускулом, ощущая радость здоровой молодости. Восемнадцатилетнему юноше казалось, что сегодня весь Петербург смотрит на него, радуется ему и любит его им. Завтра на торжественном акте Аносову вручат аттестат об окончании корпуса, и он вступит в самостоятельную жизнь. От сознания этого на душе юноши было легко и весело, но вместе с тем печаль, как тихая капель, просачивалась в сердце.

Становилось радостно при мысли о том, что впереди ждет неизвестное и заманчивое: самостоятельная жизнь, увлекательная работа, о которой он так мечтал; что навсегда уйдут в прошлое скучные уроки — фехтование, танцы, катехизис, латынь, отрывавшие время от любимых занятий по металлургии.

Обо всем этом недавно только мечталось, так опостытели стены корпуса, но вот сегодня, сейчас, когда подошло время покидать корпус, сердце Аносова тоскливо сжималось при мысли, что больше он никогда-никогда не возвратится сюда! Никогда он не сядет за учебники, не подойдет к школьной доске и не будет с таким огромным нетерпением ждать субботы, чтобы пойти в отпуск к знакомым. Все, что происходило в корпусе за семь лет учения, неожиданно повернулось к нему

новой, привлекательной стороной. Стало жаль покидать сделавшийся родным Горный корпус, преподавателей и расставаться с товарищами. Даже город с вечно хмурым, серым небом, моросившим дождем и пронизывающими туманами сегодня выглядел иначе: Петербург под утренним солнцем вставал над широкой рекой обновленным и чудесным. Сегодня все, все выглядело светло и радостно! Нева, серебрясь под солнцем, величаво текла в гранитных берегах. Воздух был необычайно прозрачен и свеж. Высокое нежно-бирюзовое небо простиралось над столицей. В садах и скверах неподвижно застыла листва, чуть тронутая легкой позолотой, но, кроме этого, ничто не говорило о надвигающейся осени. Август в этом году выдался солнечный и тихий.

Миновав деревянный Исаакиевский мост, Аносов ускорил шаги, и вскоре перед ним встал знакомый фасад Горного корпуса. Когда-то некрасивые, разбросанные в беспорядке здания чародей-зодчий Воронихин превратил в стройное художественное целое, поражающее своей красотой. На Аносова всегда особенно сильное впечатление производил фасад корпуса. К Неве спокойно спускалась широкая гранитная лестница пристани, последние ступени которой часто заливала невяская вода. Прямо перед лестницей поднимался высокий фронтон, лежащий на двенадцати строгих колоннах, вырастающих без цоколя. Здесь все было соразмерно и создавало впечатление гармонической тяжести. Здание всем своим видом, пропорциями и профилями как бы символизировало трудности горного дела, которому призваны были служить питомцы Горного корпуса.

Аносов неторопливо поднялся по лестнице в прохладный вестибюль. У швейцарской его встретил служитель Захар, отставной гвардеец с внушительным лицом и седыми баками. Он, как показалось Аносову, грустно посмотрел на унтер-офицера. Обычно Захар не отличался словоохотливостью: был строгий, исполнительный служака и по утрам, когда над крышами только-только занимался скудный северный рассвет, бил на барабане побудку. Юноша с улыбкой посмотрел на старика и обронил:

— Ну, отслужил твой барабан для меня свою службу!

— Что верно, то верно! — согласился Захар. — Уедете и забудете нашего брата. В большие люди выходите!

— Что ты, Захар, разве можно забыть! — с искренним сожалением отозвался Аносов. — Не раз вспомню!

— В народе так поется, — тихо и добродушно отозвался служитель. —

Отломила веточка
От кудрявого деревца,
Откатилось яблочко
От садовой яблоньки...

Захар грустно посмотрел на юношу, пыхнул дымком из коротенькой глиняной трубочки и душевно вымолвил:

— То-то же, не забывайте нас. А в жизни и труде берегите простых людей, Павел Петрович; они всегда будут вам верными помощниками.

— Спасибо за совет! Эх, Захар, Захар, если бы ты знал, как жалко мне покидать тебя!

— Ну уж и жалко! Тоже скажете! — просиял служитель и кивнул в сторону классов: — Суматоха кругом! Велик будет праздник, и съезд ожидается большой!..

Аносов пошел дальше. Гул и звонкие голоса наполняли залы. Вот уже много дней с утра и до поздней ночи здесь кипело оживление: везде красили, чистили, мыли. В учебных залах учили танцевать, маршировать, петь, фехтовать. Корпусный капельмейстер Кудлай, тонконогий и перетянутый в талии, словно оса, со встрепанными волосами, то хватался за голову и горестно раскачивал ею, то громко взвизгивал:

— Не так! Не так! Ах, боже мой, что я с вами буду делать! Завидев Аносова, он закричал:

— Иди, иди сюда! Ты нам нужен!

Но Павел знал, что сейчас начнется самое скучное: длинный тощий кадет Бальдауф должен читать свои стихи. Аносов промчался мимо распахнутой двери и юркнул в спальную камеру. Тут в проходах между койками расхаживали с озабоченным видом его товарищи — выпускные унтер-офицеры. Видно, и они переживали свое предстоящее расставание с корпусом. Высокий громкоголосый Алеша Чадов выкрикивал фразы из

речи, которую собирался произнести при вручении ему аттестата. Со стороны он очень походил на рассерженного индюка.

Навстречу Аносову бросился широкоплечий унтер-офицер Илья Чайковский.

— Павлуша! — обрадованно закричал он. — Где ты бродишь? Ты ничего не знаешь! Мы поедем на Урал! На Урал! — взволнованно повторил юноша и хлопнул друга по плечу.

— Не может быть! — засиял Аносов. — Это счастье. Я всегда мечтал о горном деле!

— Но там глушь; и это после Санкт-Петербурга! — лукаво заметил Чайковский.

— Разве ты не доволен? — удивленно спросил Аносов.

— Нет, я очень и очень доволен, милый мой! — улыбнулся кадет и обнял друга за плечи. — Я все эти годы мечтал о российских просторах, о суровых горах и дремучих лесах. Часто во сне вижу себя кладоискателем. Знаешь, Павлуша, мы, как волшебники, будем открывать сокровища. На Каменном Поясе, в скалах, — огромные подвалы, мы подходим к мшистым камням и говорим вещее слово: «Сезам, отворись!» Перед нами распахиваются недра, и смотри, сколько богатств в них! — Юноша мечтательно вскинул голову и посмотрел на друга.

— Вижу их, вижу эти сокровища! — весело подхватил Аносов. — Вот железо — из него будут ковать плуги и мечи. А вот камни-самоцветы. Так и горят, так и переливаются огнями. Любуйся: тут рубины, сапфиры, яхонты, вишневые шерла¹, а вот аметист, горный хрусталь. Много есть диковин на Урале. Есть там целые горы из железа и медной руды. И платина, и золото! Дивен Урал!

Чайковский улыбнулся другу:

— В давние годы русский рудознавец Ерофей Марков впервые в нашей земле, на Урале, отыскал золото. И Михайло Васильевич Ломоносов воздал сему должное; так возрадовался, что оду написал. Послушай:

И се Минерва ударяет
В верхи Рифейски копием.

¹ Шерла — разновидность турмалина (ценного минерала).

Сребро и золото истекают
Во всем наследии твоём.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла...

— Рифеи — так в древние времена наш народ величал Урал. Ломоносов верил, что русские не в сказке, а въяве добудут богатства из недр земных на удивление всему свету и на устрашение врагам России!

Аносов ласково обнял друга за плечи. Заглядывая Чайковскому в глаза, сказал сердечно:

— Илюша, прекрасны твои слова. Ломоносов — наша краса и гордость! Мы все пойдем по его пути! Он написал для нас, русских металлургов, свои «Первые основания металлургии, или рудных дел». Это — евангелие для русских горщиков. Только Михайло Васильевич создал подлинную науку о недрах, как и где находить металлы и минералы!..

— Врешь, Аносов! — резким голосом закричал долговязый, с белесыми глазами кадет. — Врешь! — зло повторил он. — Ничего ваш Ломоносов не создал. Он сам учился в нашем Марбурге!

— Эх куда хватил! — усмехнулся Чайковский и горячо продолжал: — Эдуард, как тебе не стыдно, ты говоришь неправду! Великий русский ученый Михайло Васильевич Ломоносов многое дал науке!

— Верно, верно, Чайковский! — подхватили кадеты.

— Во-первых, я не просто Эдуард, а фон Гразгор, и мой дедушка в Прибалтике имел собственный фамильный замок. Во-вторых, за дерзость я приглашаю вас драться на шпагах! — крикнул долговязый кадет.

— погоди, лозоискатель, никто с тобой драться не будет! — усмехнулся Аносов. — Величие Ломоносова доказано великой любовью к нему нашего народа!

— Ты не смеешь меня звать лозоискатель! Я буду настаивать на вызове! — побагровел фон Гразгор.

— Не шуми! Сам знаешь, братец, — где, как не у вас, отыскивают руды лозой! — спокойно сказал Чайковский, и на лицах

столпившихся кадет заиграла улыбка. — Разве тебе не известно, дорогой, что ваши горные ученые берут ореховый прут-вилку и, пользуясь колебанием сего зажатого прута, ищут месторождение руды? Погоди, впрочем, о сем сказано и у Ломоносова... Павлуша, дай-ка мне! — Он взял у Аносова книгу. — Послушайте, братцы! — обратился он к товарищам и с легкой иронией стал читать: — «Немало людей сие за волшебство признают, и тех, что при искании жил вилки употребляют, чернокнижниками называют. По моему рассуждению, лучше на такие забобоны, или, прямо сказать, притворство, не смотреть, но вышепоказанных признаков держаться, и ежели где один или многие купно окажутся, тут искать прилежно». Вот что с Запада занесли горные мастера — лозовую вилку, а Михайло Васильевич Ломоносов завещал нам тщательно наблюдать окраску воды, цвет земли, характер растительности, обломки камней при ручьях и реках. Он сказывает в сем труде: «Ежели тех камней углы остры и не обились, то можно заключить, что и сами жилы неподалеку». Вот оно как!

— Он врёт! Все врёт! — продолжал кричать Гразгор и, сжав кулаки, пошел на Чайковского.

Кругом зашумели...

— Что за крики, господа! — неожиданно раздался решительный голос, и на пороге появился Захар. — Кажись, Остермайер идет! — оглядываясь, выпалил он. Все сразу притихли. Кто не знал этого злого и надоедливового педагога, от пронизательного взгляда которого ничто не ускользало! Выговоры его были просто невыносимы. Этот брюзга с желтым, желчным лицом наводил тоску на кадет. Пойманного в шалости мальчика он уводил к себе в кабинет, удобно усаживался в кресло, а виновника ставил напротив. Ровным, дряблым голосом он монотонно начинал распекать пойманную жертву. Не повышая голоса, не отпуская бранных слов, медленно, иезуитски Остермайер «тянул за душу». Шалун, держа руки по швам, молча «ел» наставника глазами и чувствовал себя самым несчастным на свете.

И час, и два мог распекать питомца Остермайер, вытягивая из него все жилы. Воспитателя боялись не только кадеты, но даже и давно окончившие корпус горные офицеры. В классах

ходил о том анекдот. Рассказывали, что в один прекрасный вечер за тысячи верст от Санкт-Петербурга, в Барнауле на Алтае, сошлись несколько товарищей — горных офицеров, чтобы за ломберным столом перекинуться в картишки. Несколько часов в ночной тишине шла неторопливая карточная игра. Каждый глубокомысленно обдумывал возможные ходы. Вдруг в комнату ворвался один шутник, товарищ по корпусу, и с порога в ужасе оповестил: «Остермайер идет!» Все мгновенно спрятали карты, повскакали с мест и с напряженным вниманием уставились на дверь, ожидая придиричливого наставника, забыв, что он находится за тысячи верст от Алтая.

Захар лукаво подмигнул Аносову и более решительно повторил:

— Господа, иде-ет!..

Служитель улыбнулся кадету.

Безотчетный страх охватил кадет, и они разбежались. В комнате остались только Аносов да Захар.

— Молодец, Павел Петрович! — похвалил он его. — Справедливо поступили. Не смей трогать нашего батюшку Михайлу Васильевича! Не надо господам Гразгорам порочить русский народ! — И, притопывая башмаками, старик, добродушно ворча, пошел к лестнице.

Аносов нагнал его, схватил за руку:

— Спасибо, Захар, от всей души спасибо тебе!

Отставной гвардеец удивленно уставился в Аносова:

— Помилуй, это за что же спасибо?

— За Ломоносова. За то, что любишь его! — восторженно сказал юноша.

По морщинистому, чисто выбритому лицу служителя прошла светлая улыбка. Дрогнувшим, потеплевшим голосом он проговорил, глядя на молодого кадета:

— Батюшка-сударь, голубчик ты мой Павел Петрович, а кто же из русского народа не любит Михайлу Васильевича? Правда, его иноземцы затирали, старались ущемить, но простому народу, как никому, все это видно! — Старик лукаво прищурил глаза и зашептал ласково: — Ах, Павел Петрович, милый ты мой, он-то, наш простой народ, все знает, все видит, его не проведешь.

Хоть и имечко перелицуй, хоть и в веру другую перекинься, а уж замашки да ухватки никакой крещеной водой не смоешь и никаким пачпортом не укроешь... Наш человек сердечно любит все свое, родное, и делает подвиги не ради славы, не для злата, а для всей своей земли. То разумеи: чем больше его мучают, тем милее он народу. Видит простой человек, что ради него мается бедолага. Да разве когда забудет русский народ Ломоносова! Умный человек даже из другого народа преклонится перед Михайлой Васильевичем, потому он для всего света старался... Вот оно что! А народ никогда в своем чувстве не обманется. Расскажу тебе одно...

Старик и кадет спускались по широким ступенькам лестницы. Захар повел по сторонам глазами и предложил:

— Зайдем в мою каморку, скажу тебе про одно заветное...

Они спустились в комнатку служителя. Она помещалась под каменной лестницей — маленькая, плоская, прижатая грузным сводом. Небольшое окно на уровне вымощенной серыми плитами панели глядело в темные невские воды.

Глубокая тишина охватила Аносова. Звуки в это подземелье доходили глухо, отдельно. Он много раз бывал у Захара, и его всегда трогала чистота и опрятность его более чем скромного жилья. На стене висел палаш с начищенной медной рукояткой, на плетеном ветхом кресле — мундир с медалями. Старик перехватил вопросительный взгляд гостя и пояснил:

— Вот скоро господа на торжество съезжаться начнут, в парадном мундире встречать буду! — Он прошел вперед и уселся у окна.

— Садись, сударь! — указал он глазами на стул. — И я посижу; стар стал, ноги гудят; видать, вовсе отслужился, да вот нет сил уйти от ребят. Привык к вам, ой как привык, сударь!

Аносов уселся напротив старика, тот смущенно признался:

— А я ведь у порога стоял и все от слова до слова слышал. На душе радость забушевала: ловко вы с Илюшей фон-барона отбрили... Ух, брат, много их на русской шее сидит!..

От похвалы Захара лицо Павла вспыхнуло. Чтобы перевести разговор на другое, он напомнил:

— Ты что-то интересное хотел рассказать, Захар.

— Что ж, это можно, только — по тайности. По душе ты мне пришелся, сударь. Приклонилось мое старое сердце к тебе, потому что чуется оно: добр ты к простому человеку. Не заскоруз еще ты, Павел Петрович, в делах житейских! О народе и речь поведу, а ты верь старшему. Много, много пережито и переведано, горбом дошел, что к чему. Ты, сынок, в жизни прямо иди, не гнись; не бойся бури, не сломит! На свой народ надейся, прислушивайся к нему! Ты простому человеку доброе слово, как золотой лобанчик, подари, а он тебя большой любовью укрепит, никогда не выдаст в беде. Помни, милый, нет никого сильнее, умнее и вернее нашего простолюдина! И чуток он, и добр, и сердечен. Не лукавь перед ним, не криви душой: народ все чувствует, все ценит, все знает, и его не обманешь. Довелось мне своими глазами увидеть многое. Скажу тебе, сударь, старое-бывалое. Только, чур, царским величеством о нем запрещено говорить! — Старик встал, неторопливо подошел к двери, прислушался.

— Ты это о ком, Захар? — удивляясь осторожности старика, спросил Аносов.

— Известно о ком, — прошептал тот, — о нем, о батюшке Емельяне Ивановиче.

— О Пугачеве! Да ведь он и в наших краях прошел грозой. Дворяне сказывают: великий душегуб был!

Захар нахмурился.

— Ты не очень, сынок, бранись! — сурово перебил он.

— Да это всему свету известно! — с жаром вымолвил Аносов.

— Простой народ другое говорит! — твердо сказал старик. — Это верно: для господ он душегуб и разбойник, а для нас — защита и надежда был!

Горный кадет столько наслышался о жестокостях Пугачева, что удивился ласковому тону старика. Прошло больше четверти века, а в светских гостиных все еще боязливым шепотом говорили о «злодее, потрясавшем трон монархии». Между тем Захар таинственно продолжал:

— Для бар он душегуб, потому что помсту за крепостной народ вел и простому люду волю и правду нес. Мне самому довелось видеть Емельяна Ивановича в тяжелый смертный час и услышать его честное слово к народу...

Юноша притих, жадно ждал продолжения рассказа, но старик на минуту смолк; подумал, решительно махнул рукой:

— Ладно, так и быть, расскажу. Давненько это случилось, а вот на душе такое, будто вчера довелось видеть и слышать его. Известно вам, я в гвардии ее величества служил и по случаю событий в Москве был. И в этот самый день, когда на Болоте его терзали, наша рота караул у Лобного места держала. Затемно нас привели на Болото, выстроили, и стою я ни жив ни мертв, а на сердце поднялась великая смута. Посреди нашего каре — высокий помост, позади — народу видимо-невидимо. Слышно, как шумит, ропщет люд. Вот только солнышко поднялось из-за Москвы-реки, заиграли-залучились золотые маковки кремлевских церквей, и в эту пору пуще загомонил народ, заволновался, будто под ветерком деревья прошумели. Скосил я очи и вижу: среди народа двигаются сани с помостом, на них скамья, и на скамье сам батюшка Емельян Иванович сидит. Глаза так и жгут, а в руках две свечи ярого воска. Ветерок колышет пламя свечей, воск на глазах плавится и стекает ему на руки, а он, батюшка, с жалостью смотрит на простых людей и всем кланяется. Глянул я вначале на него, потом на эшафот, а там столб с воздетым колесом, на солнышке блестит острая железная спица. «Мученик ты наш, мученик! За народ страдать будешь!» И злость, и жалость меня тут взяли, зашлось от обиды мое сердце. Кажись, взмахнул бы штыком да и пошел на бар. Сытые, выхоленные, нарядные, тут же расхаживают они и улыбаются. И вот схватили его, батюшку, под руки и поволокли на эшафот...

— Ты все это сам видел? — с бьющимся сердцем спросил Аносов, и ему вдруг стало бесконечно жаль Пугачева.

— Как тебя сейчас! — Старик вздохнул и сокрушенно пожаловался: — Солдат присягой связан, поставили — стой, скажут: стреляй — стрелять будешь! Ну а что у меня на душе было, не спрашивай... Скинул Емельян Иванович шапку, вздохнул полной грудью, взглянул на небеса, на Кремль и сказал народу: «Не боярам в Кремле сидеть! Меня казнят, а народ не казнишь; правду он сюда принесет. Берегите ее, братцы!»

— Да этого он и вовсе не говорил, Захар! — перебил Аносов. — Из правительственных листков известно, что струсил

Пугачев, все кланялся и плакал: «Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрубил перед тобой, прости, народ православный!»

— Эх, милый, так это в господских грамотах так прописано, а в народе иное хранится. Я сам видел и слышал. Так и всколыхнуло меня, когда на площади весь народ ахнул в одну грудь: «Держись, батюшка, держись крепко! Не погибнешь ты под топором, унесем тебя в своем сердце...» Это верно! Палачи в ту пору сорвали с него бараний тулуп и потащили к плахе. Вырвался он, вскинул голову и закричал: «Не трожь, корявая рожа, смерти за свой народ не боюсь! — А сам всплеснул руками, опрокинулся навзничь на колоду и приказал: — Теперь руби, дворянская собака!» И палач вмиг отрубил ему голову...

— Не говорил он эти слова! — взволнованный рассказом старика, выкрикнул Аносов.

— Ты, сударь, не спорь. Тебя в ту пору на белом свете не было, а я уж в гвардии служил, и сердце мое не обманешь. Сам слышал! — убежденно подтвердил Захар. — А через три дня колеса, сани, эшафот и тела загубленных сожгли, в пепел обратили. Только я уголек все-таки один уберег!

— Что ты говоришь! — вскочил юноша.

— Уберег и храню, как святыню. Ведь кровью Емельяна Ивановича он полит. А народ с кострищ по горстке пепла уносил... Нет, сударь, такое не забудется...

Аносов сидел молча, подавленный рассказом, не спуская глаз со старика. А Захар, растревоженный воспоминаниями, не мог успокоиться и продолжал:

— Я, милоч, вот к чему речь веду. Народ не обманешь. К примеру сказать, на другой день после казни Емельяна Ивановича в Кремле на Красном крыльце при самом генерал-прокуроре Вяземском прочитали указ о прощении девяти преступников, которые царице с головой выдали батюшку. Объявили им прощение и оковы сняли. И сколь велика была толпа, собравшаяся проститься с батюшкой Емельяном Ивановичем, — столь ничтожно пришло людей на объявление милости христопродавцам этим. Мало того, сударь, только ушел князь Вяземский да дворяне, откуда ни возьмись подошли простые люди и заплевали место, с коего огласили прощение. Кабы не

гвардейцы, неизвестно, что бы стало с прощенными извергами... Видишь, как обернулось дело! И на том еще не окончилось... Отправили прощенных в Новороссийскую губернию к Потемкину, а и тот от них отмахнулся. «Не надо, — сказывает, — их мне; народ все равно убьет иродов, а я в ответе!» Тогда погна-ли окаянных на поселение под Ригу, но и там их не приняли: латыши грозились камнями забросать... И куда только не гоняли злодеев, никто не хотел принять. Что же, сударь, по правде судил народ: раз каиново дело свершили, ну и скитаться вам, окаянным, без сроку, без времени...

Старик закашлялся и смолк. За оконцем, над Невой, летала чайка. Она то падала к серой волне, то снова взмывала вверх с трепещущей серебристой рыбкой в клюве. Тишина водворилась в подвальной комнатке. Захар сидел, тяжело опустив голову на грудь.

— А куда ты упрятал тот уголек? — вдруг тихо спросил Аносов.

Глаза старика вспыхнули, он оживился.

— Уголек? Он всю жизнь при мне, всю жизнь согревает сердце надеждой. Затем тебя и звал! — ласково сказал служитель, поднялся и проворно полез к божнице, перед которой теплилась голубая лампадка. Пламя огонька от движения слугителя заколебалось.

Захар добыл из-за образа ладанку и протянул ее кадету.

— Вот, возьми! — предложил он. — Сегодня ты здесь последний день; завтра отправишься к горщикам. Это тебе мое благословение. Береги уголек; станет трудно — приложи к сердцу. Согреет он! Думка народная, жалость, доброта — все тут скопилось в уголке. Храни его, милок, пусть согреет твою душу, чтобы она доброй и ласковой была к простому народу...

Аносов порывисто вскочил и, обняв старика, расцеловал его:

— Спасибо, Захар, спасибо, родной!

— На том будь здрав! — тихо отозвался старик. — Ну, иди, сударь, там тебя ждут, да никому об этом ни словечка...

Радостно возбужденный, Аносов вышел из каморки и побежал по лестнице, прижимая к сердцу ладанку. И казалось ему, что невидимый огонек пылает у его груди и согревает ее, так приятно и хорошо было на душе...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь воспоминаний

Тихая теплая ночь простерлась над Петербургом. Серебристый свет луны косыми потоками врывается в спальню, и на полу четко выступают черные тени оконных переплетов. Аносов не мог уснуть, ворочался, вздыхал. Он глубоко чувствовал свое одиночество: многие кадеты разошлись по домам. На душе было тоскливо. Он лежал в глубоком безмолвии, и воспоминания детства нахлынули на него, как внешнее половодье, от которого невозможно укрыться.

Смутно, словно сквозь туман, перед ним мелькают образы отца и матери. Отец — секретарь берг-коллегии, худощавый, измученный человек с легкой проседью в густых волосах — вечно занят. Мать — большеглазая, ласковая женщина — всегда в домашних хлопотах. За работой она любила напевать грустные песни, от которых щемило сердце. Павлуша рос крепышом, понятливым. Он хорошо запомнил, когда отца перевели на службу в Пермь советником горного округа. Стояла весна. Всей семьей они плыли по широкой светлой Каме-реке. Мимо шли холмистые берега, густо поросшие пихтой и елью. Один берег поднимался стеной, другой был отлогий, с большими полянами, на которых раскинулись бревенчатые русские деревушки. Навстречу плыли плоты. Вот один из них, словно гигантская змея, изогнулся на повороте реки, подставив яркому солнцу свою желтую смолистую спину. А рядом по береговой тропке шли вереницей согбенные бурлаки. Они тянули против течения канатами тяжело нагруженную расшиву, борта которой были пестро раскрашены.

Расшива шла по Каме ходко и весело, разрезая грудью воду, и по сторонам ее, как седые усы, расходились гребни. А бурлаки, наваливаясь на лямки, шли мрачные и злые. В такт движениям они пели тягучую и длинную песню. Печальные голоса оглашали реку:

Ох, матушка Волга,
Широка и долга!

Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало,
О-ох!

— Видишь, как работнички надрываются! — сказал Павлуше стоявший рядом старик-лоцман и тяжело вздохнул. — Ох и каторжна работенка! Начнут лямку тянуть в лаптях да в онучах, а кончат босоногими! Эвон, гляди! — указал он на берег. На извилистой тропке, на всем бурлацком пути валялись вкоонец изодранные и брошенные лапти.

Впереди к воде близко подходил дремучий бор, и шумящие кроны его отражались в тихой воде, а высоко над яром горизонт заволакивало синью.

Коренастый загорелый лоцман, прикрыв глаза ладонью, долго вглядывался в хмару. Вздохнув, он взял Павлушу за руку и сказал ласково:

— Айда, мальчонка, к мамаше, гроза будет. Здоровая туча идет!

Как завидовали ему малыши: он разговаривал с бородатым лоцманом! Шутка ли!

Мать поспешила укрыться с детьми в каюте. Сильно завыл упругий ветер. Яркая, ослепительная молния пронизала небосвод сверху донизу, и со страшным грохотом раскололся и раскатился гром. Стало весело и страшно. Крупные капли дождя гулко барабанили по деревянной обшивке судна, по стеклу. И этот частый drobный стук казался бодрящей музыкой...

Гроза быстро промчалась, лихой ветер разорвал синюю тучу в клочья и унес их вдаль. Снова брызнуло солнце, и над Камой-рекой из края в край раскинулась цветистая радуга. Под солнцем еще ярче зазеленели омытые дождем травы и леса.

— Смотрите, дети, какая прелесть! — восторженно сказала мать, и ребята долго любовались чудесным видением радуги. Только отец сутулясь стоял у борта и, схватившись за чахлую грудь, надрывно кашлял. Он был равнодушен ко всем камским прелестям. Мать тревожно поглядывала в его сторону...

Кто бы мог подумать, что все так печально кончится? В то лето, когда пышно распустились сады, отец скоропостижно умер в Перми. Два дня он лежал в открытом гробу, — с груст-

ной мечтательностью на лице, — так казалось Павлуше, и ему не верилось, что вот скоро отца унесут и он больше никогда его не увидит.

Бледная, осунувшаяся мать сквозь слезы жаловалась соседям:

— Сразу, как громом в бурю, сразило!

Павлуша вспомнил грозу на реке, и страх охватил его. Он жался к матери и по-детски ее успокаивал:

— Не бойся, мы от грома уйдем в каюту...

Не знал он, что от лихой беды никуда не упрячешься.

Осенью умерла и мать Павлуши. В опустелой квартире осталось четверо сирот, мал мала меньше.

В эти дни с Камско-Воткинских заводов в Пермь приехал дедушка Лев Федорович Сабакин, кряжистый старик с добрым смуглым лицом и седыми усами. Сбросив порыжелый мундир, оставшись в рубаше, он понуро уселся в искаленное кресло и дружелюбным взглядом долго разглядывал сирот.

— Эх, бедные вы мои горюны, ну что мне с вами делать?

Большой сердечной теплотой прозвучали его слова. Павлуша заметил, как волосатая рука дедушки нервно затеребила ворот рубашки, словно старику стало душно.

— Ну, что уныло глядишь, внучек? — ободряюще сказал он. — Не печалься, не пропадем! Это верно, тяжело живется на земле нашей, а ни на какую иную не променяю — своя и в горести мила! Собирайтесь, малые!

А собирать особенно нечего было — все имущество уместилось в небольшом узелке. Старик бережно уложил его и, усаживая детей в большой плетеный короб, бодро проговорил:

— Ну, малые, садись! Гляди, как! Живем в неге, а ездим в телеге.

Всю дорогу дедушка поглядывал на сирот и ободряюще сыпал прибаутками. По рассказам матери, Павлуша знал, что Лев Федорович вышел из простых людей, самоучкой изучил механику и превосходно умел строить самые разнообразные машины.

Березовые рощи роняли свой золотой лист, когда старик привез сирот на завод. На крылечко небольшого домика, у которого остановились кони, выбежала худенькая опрятная старушка с милым добродушным лицом и стала целовать ребят. От нее хорошо пахло горячим хлебом, тмином, и Павлуше она сразу пришлась по душе.

Маленький домик дедушки стоял на краю леса, на широкой и веселой луговине, сбегавшей к лесной речушке Вотке. Старики радовались внукам и тому, что их тихое жилье наполнилось ребячьим смехом. Дедушка поднимался с восходом солнца и уходил на завод, где работал механиком. Уходя, он весело будил ребят:

— Вставайте, голуби! Погляди, что вокруг творится, — прощай ясен месяц, взошло красно солнышко!

Павлуша навсегда запомнил заводских рабочих — они приходили к деду с просьбами. Уральцы были высокими, плечистыми, с густыми широкими бородами — казались богатырями. Одевались они в ряднину, мягкие портки, на голове носили серые войлочные шапки, слегка сдвинутые на затылок; говорили медленно, сумрачно, но дед охотно выслушивал их и всегда помогал.

К Сабакину по субботам являлся загорелый, жилистый, с желтоватой бородой охотник Архипка со своей юркой дворняжкой Орешкой. Морда у пса походила на лисью, уши были настороже. Несмотря на неказистый вид, Орешка отличался проворством, легкостью и превосходным чутьем.

Архипка славился на всю округу умением гнать лося. С пудовой ношей за плечами он неумоимо бежал на лыжах за быстрым зверем. Но в праздники он никогда не охотился.

— В праздник и зверю отпущен покой! — говорил он и садился на крылечке. Его мигом окружали ребята. Старик спокойным, размеренным голосом рассказывал им о старине. Про него говорили, что он ходил вместе с Пугачевым под Уфу, и Архипка не отказывался, охотно вспоминал о Пугачеве:

— Как его, батюшку, забудешь, коли с ним на Казань ходил. Пришел он, родимый, на Боткинский завод, мучителя Венцеля

рассказнил, а рабочий люд обласкал. Ох и милостив он был к простому народу!

Любил старик пропеть про пугачевские клады. И Павел до сих пор помнит начало одной песни. Архипка, раскачиваясь, пел:

На Инышке-то, в светлом озере,
Во стальной воде, да под стеклышком,
Спрятан-скрыт лежит пугачевский клад.
Он давным-давно был там спрятанный,
Он давным-давно там схороненный.
Он схоронен был в темну-черну ночь,
Поздней осенью, в непогодушку...

Он пел чистым грудным голосом о встрече Пугачева с Салаватом Юлаевым — о том, как хоронили они золото, и заканчивал с грустью:

И с тех пор лежит бочка с золотом,
Бьет волна по ней сизокрылая,
Только с берега ворон каркает —
Бережет добро пугачевское...

О Пугачеве, добром его вспоминая, рассказывала детям древняя морщинистая нянюшка Сергеевна; да и все на Урале было полно воспоминаниями о нем. Павлуша бегал на завод, пробирался в мастерские. Чумазые, перемазанные копотью литейщики и кузнецы были словоохотливы с ним, и в душу мальчика глубоко запали прекрасные поэтические представления о простом русском человеке, который и в беде находит для друга доброе слово...

И еще Павлуша до самозабвения любил кузнечное дело; он искренне, с детской горячностью завидовал русским умельцам, чьи золотые руки делали чудеса. Вопреки запретам, он бегал в кузницу и целыми часами приглядывался к горячей работе. Ах, как хотелось ему быть кузнецом! Из-под молота дождем сыпались искры, под ударами звенел металл, а черномазый кузнец, с белыми ослепительными зубами, высился могучим великаном среди огневой метели, освещенный заревом горна.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОРОВ

БОЛЬШАЯ СУДЬБА

Руководитель проекта Кирилл Красник
Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Татьяна Павлова
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Алиса Павлова, Ульяна Смирнова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 27.08.2026.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 5000 экз.
Усл. печ. л. 49. Заказ №

Изготовитель:	Өндіруші:
ООО «Издательство АЗБУКА» —	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ —
обладатель товарного знака АЗБУКА®,	АЗБУКА® тауар белгісінің иесі,
115093, Москва, вн. тер. г.	115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
муниципальный округ Даниловский,	Даниловский муниципалдық округі,
пер. Партийный, д. 1, к. 25	Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19	Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru	E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательство АЗБУКА»	Санкт-Петербург қ.,
в г. Санкт-Петербурге,	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы,
195112, Санкт-Петербург,	195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 68	Малоохтинский даңғылы, 68-үй
Тел. (812) 327-04-55	Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru	E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru	www.azbooka.ru
Отпечатано в России.	Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <https://certification.atticus-group.ru/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

16+

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ARL-43225-01-R